**Леонид Жуховицкий**

**Загадка Тургенева**



Леонид Аронович Жуховицкий родился в Москве в 1932 году. Окончил Литературный институт им. М. Горького. Автор многих книг — прозы, эссеистики и публицистики. Живет в Москве.

ЗАГАДКА ТУРГЕНЕВА

Дон Кихот, Фауст, Робин Гуд, Дон Жуан, Василий Буслаев.

Наверное, у каждого пишущего эти имена вызывают и страх, и что-то вроде жадности. Страх понятен: слишком огромны фигуры и слишком много о них написано. Но ведь и жадность понятна: как заманчиво, как фантастически интересно о них писать! За каждым именем — уникальной яркости легенда. В каждой легенде — уникальной значимости загадка. По-иному понять Фауста или Дон Жуана — это ведь по-новому взглянуть на мир!

А рядом с легендарными именами — другие, ничуть не ниже: Шекспир, Байрон, Лермонтов, Бальзак, Толстой. Масштабы те же. Характеры той же силы. Загадки? Пожалуй, еще загадочней.

Одна из самых крупных и загадочных фигур в истории мировой литературы — Иван Сергеевич Тургенев.

\* \* \*

Писать о Тургеневе? Дух захватывает.

Я не литературовед, не историк. Просто читатель. Ну, еще ученик, выросший на его прозе, студент-первокурсник, затерянный в последних рядах аудитории, чья макушка с профессорской кафедры просто не видна. В последнем собрании сочинений Тургенева тридцать томов. Тридцать томов — и все классика! Как подступиться к этой махине?

Но перечитывать Тургенева, думать о Тургеневе — это ведь такой праздник...

Существует определенная традиция юбилейной речи. Торжественное вступление. Краткая биография. Длинный ряд заслуг. Длинный ряд цитат. Всемирно-историческое значение. Торжественное заключение. Словом, панегирик на коленях.

Но о нем так нельзя — Иван Сергеевич был человеком с юмором и со вкусом.

Написать о гении сугубо субъективно, так сказать, собственное мнение? Писатель о писателе? Нельзя — слишком различны масштабы.

Впрочем, у великих литераторов есть гуманная особенность: они, пусть в разной степени, принадлежат каждому, умеющему читать. Даже у редактора полного собрания сочинений на классика не хозяйские, а лишь читательские права. Так что у любого из нас свой Тургенев.

О своем Тургеневе я и буду писать.

Вероятно, все же окажусь субъективным. Но для субъективности у меня есть некоторые основания. Дело в том, что со школьных лет Тургенев — мой любимый писатель, а любовь объективной не бывает.

Любимый писатель — всегда близкий человек. Нельзя серьезно думать о нем, о его эпохе, его жизни, его творчестве, не пытаясь в полную силу своего ограниченного разума вглядеться в себя, в свою эпоху, в свою жизнь, в свое ремесло. Не только книгами, но и собственными судьбами классики учат нас жить.

\* \* \*

Я причислил Тургенева к фигурам загадочным. Но правомерно ли это? Жизнь его известна с первого до последнего дня, расчислена, расписана, разнесена по биографиям, монографиям, вузовским и даже школьным учебникам. Книги изучены до спорной запятой, истолкованы многократно. Письма собраны, изданы и прокомментированы. Замыслы, вплоть до неосуществленных, и те строго учтены: классик обмолвился в письме или случайном разговоре, что тревожит его некая мысль — а эту мысль тут же в реестрик под специальным номером. Вот так, например: “123. Бедный Семен. Замысел очерка из „Записок охотника“. Занесен под № 7 в двух программах в черновой рукописи „Бурмистра“ (июль 1847 г.)” (“И. С. Тургенев, 1883–1933”. Сборник статей. ОГИЗ-ГИХЛ, 1934).

Ну, где тут спрятаться загадке?

Но вот факт из того же реестрика — впрочем, известный ныне даже порядочному школьнику: в 1847 году Тургенев опубликовал в “Современнике” очерк “Хорь и Калиныч”. Этим очерком или рассказом открылись знаменитые “Записки охотника”, составляющие, как правило, в многочисленных собраниях его сочинений первый том. В литературу вошел великий писатель.

Стоп! Тут загадка.

Момент вхождения в литературу — это, по сути, лишь канцелярская регистрация огромного события, произошедшего раньше. В 1847 году Иван Сергеевич Тургенев официально оформился в качестве великого писателя. А когда же и как он им стал? Каким образом, в силу каких причин человек становится великим? Если бы хоть приблизительно понять это! Какой ценности “передовой опыт” для любого живущего на Земле, будь то литератор, инженер или зоотехник...

Пушкина уже в шестнадцать лет заметил и благословил старик Державин. Лермонтова не заметили и не благословили, но зря: в шестнадцать лет он уже был вполне достоин благословения. Впрочем, юный поэт в благословении, пожалуй, и не нуждался, чуть не с колыбели он ощущал в себе громадный талант, и требовалось лишь время, чтобы найти ему воплощение.

Но Тургенев — дело иное...

\* \* \*

...Родился 28 октября (по ст. ст.) 1818 года в Орле, в достаточно богатой дворянской семье. Отец Тургенева, Сергей Николаевич (цитирую биографию 1883 года, вероятно, первую посмертную), “служил в елисаветградском кирасирском полку и женился в Орле на дочери богатого местного землевладельца, Варваре Петровне Лутовиновой. Вскоре после рождения Ивана Сергеевича, бывшего вторым в семье, отец его вышел в отставку с чином полковника и поселился в имении своей жены, селе Спасском-Лутовинове, в десяти верстах от города Мценска Орловской губернии. Там провел Иван Сергеевич первые годы своего детства вместе со своим старшим (на два года) братом Николаем. В 1822 году родители их со всей семьей и множеством крепостной челяди отправились на собственных лошадях, в двух каретах с фургоном, за границу — в Германию, Швейцарию и Францию. Это путешествие, бывшее по тому времени и при тогдашних дорогах своего рода подвигом, едва не стоило жизни нашему Тургеневу: в Берне, осматривая знаменитую яму, где и теперь содержатся городские медведи, он сорвался с перил и чуть не упал к зверям; по счастью, отец вовремя успел подхватить неосторожного ребенка. Такая близость к смерти была не единственным случаем в детстве Тургенева: на том же четвертом году возраста он заболел так отчаянно, что с него уже снимали мерку для гроба”.

Проходит еще несколько лет. Мальчика учат “чему-нибудь и как-нибудь” — пушкинская формулировка тут вполне уместна. С иностранной литературой его знакомит гувернер-немец, впоследствии оказавшийся седельником, с русской — крепостной камердинер матери, читающий ему вслух “Россиаду” Хераскова, длиннющую торжественную поэму, давно и справедливо забытую. Литературой в семье интересуются мало, русскую вообще не признают, разве что, с оговорками, Пушкина. Зато языкам, французскому и немецкому, учат с раннего детства.

Не будем слишком строги к родителям классика, пренебрегавшими родной словесностью. Сперва вспомним, из чего она в то время состояла. Первый прозаик — Карамзин. Первые поэты — Державин, Жуковский, Батюшков. Первый драматург — наверное, Сумароков. Особняком стоят Фонвизин и Крылов. Достойные имена, немаловажна их историческая роль. Но пройдет несколько лет, и Белинский даже без горечи, просто констатируя факт, скажет: литературы у нас нет. Странное и удивительное время! Возьмем хотя бы 1822 год, тот год, когда с больного мальчика снимали мерку для гроба.

Литературы (скажем осторожней — великой литературы) — нет. А великие писатели — есть! Сколько их!

Пушкину двадцать третий год. На предшественников не похож и потому сомнителен. Уже успел прослыть и скандальным, и опальным. Через год напишет первые строки “Евгения Онегина”. Грибоедов постарше, ему двадцать семь. Умен, образован, глубок, в литературе безвестен. Тютчев помладше — девятнадцать. Умен, образован, глубок, в литературе безвестен... А дальше?

Дальше — мальчики. Гоголю — тринадцать лет, Белинскому — одиннадцать, Гончарову и Герцену — по десять, Лермонтову — восемь, Достоевскому и Некрасову идет второй год, Григорович только родился. Через год родится Островский, через четыре — Салтыков-Щедрин, через шесть — Толстой и Чернышевский.

Великой литературы еще нет. Но артиллерия главного калибра уже выдвинута на боевые позиции, могучие резервы на подходе...

Что это — случайная концентрация таланта во времени? Или, в отличие от предыдущих, эта эпоха, в силу разного рода причин, пощадила своих гениев, позволила им воплотиться в дела? Но нет, не похоже — кому уготована ссылка, кому чахотка, кому дуэльная пуля...

Скорей всего, причина иная — русское передовое общество созрело для великой литературы. Тургеневу повезло — он явился вовремя... Впрочем, сын рядового орловского помещика обо всем этом не знает и не думает. У него свои заботы.

Тринадцать лет. Москва. Пансион. Молодой человек пишет “милому дяде” не без юмора о классных уроках, успехах и с куда большим удовольствием о приятных развлечениях.

“Середа 1-го апреля. Обманывал, был обманут, смеялся над обманутым в этот день. Утром, как я готовился, Николенька мне принес свернутую бумажку и сказал: „Вот письмо“. Я развернул, ничего не было. Я пошел к г-ну Мейеру и сказал, что к нему пришел слуга г-на Владимирова: он вскочил, никого не было. Но лучше всего был обманут Сережа. Мы согласились с Никанором и написали старинным почерком:

„Милостивый государь,

Извещаю вас о смерти Вашей любезной матушки Васильевой. Как Николаю Николаевичу нет времени, то он приказал мне написать. Ваш и пр., Павел Москалев“.

Из Спасской Домовой Конторы намазали печать и отдали Сереже. Тут-то и начались вздохи, слезы и бог знает что, наконец, его разуверили”.

Дворянских детей, как правило, не пороли. Впрочем, судя по веселому тону письма, на наказание и намека не было. Вполне удавшаяся шутка в духе эпохи и среды...

С пятнадцати лет Тургенев изучает гуманитарные науки в университетах, меняя города: год в Москве, два в Петербурге, затем, не удовлетворенный полученным образованием, еще два года (с перерывом) в Берлине. Учится по-настоящему, не “для порядка”, а для себя. К двадцати трем годам он широко и достаточно фундаментально образованный человек, знающий языки, философию, русскую и европейскую литературу.

Молодой человек и сам пробует перо: пишет лирику, поэмы, драмы, переводит кусками “Отелло”, “Короля Лира”, байроновского “Манфреда”. Уже печатаются кое-где его стихи. Автор ценит свои творения не слишком высоко: чем образованнее человек, тем трудней ему заблуждаться на собственный счет, а Тургенев, как мы знаем, уже образован. Посылая первые опыты старшим знакомым для совета, он долго и более чем самокритично извиняется. Тургенев как бы стоит на пороге литературы, колеблясь, стоит ли делать решительный шаг.

Эти колебания длятся приблизительно два года.

“Около Пасхи 1843 года в Петербурге произошло событие и само по себе крайне незначительное, и давным-давно поглощенное забвением. А именно: появилась небольшая поэма некоего Т. Л., под названием „Параша“. Этот Т. Л. был я; этою поэмой я вступил на литературное поприще”.

Шаг сделан, но можно ли назвать его решительным?

Поэме повезло — ее похвалил Белинский. Впоследствии Тургенев писал, что великий критик сделал это “в силу некоторых, едва заметных крупиц чего-то похожего на дарование”.

Чья оценка справедливее?

Думаю, автора. Поэма написана и читается легко, точна в подробностях, вызывает в памяти прекрасные образы — “Евгений Онегин”, “Домик в Коломне”, “Тамбовская казначейша”,— но что еще хорошего можно о ней сказать? Впоследствии, при всей любви к автору, ее быстро перестали читать.

Впрочем, Белинского легко понять. Пушкин убит, Лермонтов убит, Тютчев пишет мало и редко, Некрасов только расправляет крылья. На тогдашнем поэтическом фоне “Параша” явно выделяется, автор ее может сразу занять заметное место среди второстепенных русских поэтов — а первостепенных нет. Так что, пожалуй, аванс критика вполне оправдан.

В скором будущем Тургенев этот аванс с лихвой оплатит — только иной монетой...

После “Параши” молодой литератор печатается активно. Стихи, поэмы, рецензии, несколько прозаических вещей. То с подписью, то под буквой, то вообще без подписи. Нужная и вполне квалифицированная журнальная работа. Многие литераторы, начинавшие вместе с Тургеневым, так и занимались ею всю жизнь...

Конечно же, трудолюбие и, я бы сказал, профессиональный демократизм (никакой работы не чурается) молодого Тургенева вызывают глубокое уважение. Без подобной “графомании” большой писатель, как правило, не получается. Но и одно трудолюбие не делает большого писателя. Необходимо что-то еще.

В тургеневских публикациях до “Записок охотника” виден одаренный и культурный молодой автор, уже вошедший в литературу и занявший в ней довольно скромное, но полезное и вполне достойное место. Гений — не виден.

Пожалуй, разгадку уже подготовленной вспышки надо искать в других разделах собрания сочинений.

\* \* \*

Сегодня мы пишем письма редко и неохотно: расходы на телефон намного превышают затраты на переписку. Но нам повезло — в тургеневскую эпоху телефон еще не был изобретен.

После Тургенева осталось больше пяти тысяч писем. Огромная, во многих томах, история человеческой души. По стихам, статьям видно, что писал Тургенев до “Записок охотника”. По письмам видно, как он жил, что думал, с кем дружил, к чему готовился.

С кем же дружил начитанный сын орловского помещика?

Тут ему редко повезло. Нужные, влиятельные, знаменитые люди!

Если употреблять нынешний штамп, “доброго пути” в литературу ему пожелал величайший русский критик. Он развивался и мужал в одной компании с Герценом, Гончаровым, Некрасовым, Григоровичем, Бакуниным, Грановским. Классики, сплошь классики!

Надо уметь выбирать друзей.

Но давайте забудем про бородатые портреты на стенах библиотек. Ведь ничего этого и в помине не было.

Студент дружил со студентами, молодой человек водил компанию с молодыми людьми. Да, Грановский и Станкевич оказались влиятельными деятелями в том единственном смысле, что их влияние на литературу огромно. Но кто бы предположил это в тот вечер, когда Тургенев сидел с Грановским “в большой и пустой его комнате, за шатким столиком, на котором вместо всякого угощения стоял графин воды и банка варенья”? И будущие классики были в ту пору безвестными и полуголодными. И благословил молодого человека на тяжкий литературный труд другой молодой человек — тридцатидвухлетний болезненный бедняк, “поденщик и каторжник” журналистики Белинский.

Надо уметь выбирать друзей!

В 1840 году Тургенев (ему еще нет двадцати двух) пишет другу:

“Нас постигло великое несчастье, Грановский... 24 июня в Нови скончался Станкевич... Я оглядываюсь, ищу — напрасно. Кто из нашего поколения может достойно заменить нашу потерю? Кто достойный примет от умершего завещание его великих мыслей и не даст погибнуть его влиянию, будет идти по его дороге, в его духе, с его силой?”

Через пару месяцев письмо Бакунину:

“Как для меня значителен 40-й год. Как много я пережил в 9 месяцев. Вообрази себе — в начале января скачет человек в кибитке по снегам России. В нем едва началось брожение, его волнуют смутные мысли; он робок и бесплодно задумчив... В Риме я нахожу Станкевича. Понимаешь ли ты переворот или нет, начало развития моей души”.

Почти тридцать лет спустя Тургенев напишет об этой поре, о поездке за границу:

“Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был — крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решил бороться до конца, с чем я поклялся никогда не примиряться... Это была моя аннибаловская клятва”.

В одном из последних писем он скажет о “Записках охотника”: “Собственно, все они были написаны между 1840-м и 1850-м”. Что было в сороковом -— наброски, замысел, смутное ощущение задачи? Или просто начало “развития души”, способной эту задачу решить?

К сорок шестому году развитие души в основном закончилось — под влиянием ученья, книг и друзей; личность, на редкость глубокая, наконец, сформировалась. Великий писатель сложился.

Оставалось написать великие вещи.

Как выглядел классик?

Седобородый патриарх, грузноватый, умудренный и умиротворенный, хорош для памятника,— но “Записки охотника” и “Дворянское гнездо” писал не он.

Лучше вглядимся в фотографию 1856 года. Ивану Сергеевичу тридцать восемь. Пять лет назад окончены “Записки охотника”, через пять лет появятся “Отцы и дети”, “Рудин”, “Дворянское гнездо”, “Накануне”, “Ася”, “Первая любовь”— все вмещает это десятилетие. Похоже, именно тут вершина жизни. За спиной богатый опыт, в руках безукоризненное мастерство. Друзья ясны, враг ясен. Здоровья хватает, замыслов в избытке. Только работать, только не упустить идеальное для писательства время!

Не упустит...

На овальной фотографии крупный, спокойный, аккуратный человек. Аккуратная — волосы назад — прическа. Аккуратные, довольно большие, ровно подстриженные бакенбарды. Белоснежная сорочка с не застегнутым воротничком и черный — галстук? шейный платок?— не знаю, как это тогда называлось. Удобный, чуть мешковатый сюртук с жилетом.

Если отвлечься от моды давно минувшей эпохи, одежда выглядит вполне практично, вроде современных спортивного покроя ансамблей: можно в контору, можно к друзьям, можно в театр, можно снять сюртук — и к письменному столу.

Лоб большой, глаза умные, внимательные. Никаких следов пронзительности, фанатичного огня, скрытой муки и прочего творческого демонизма. Спокойная, чуть печальная доброжелательность.

Основное ощущение от фотографии или, как говорили в те времена, “ее пафос”— глубокая, естественная порядочность. И, пожалуй, ответственность: писатель с таким лицом не оставит на листе неряшливую фразу. А в общем — умный, сдержанный, работящий интеллигент. Если позволить себе более позднюю литературную аналогию — чеховский доктор Астров.

Жаль, что наиболее распространенные скульптуры и портреты изображают не творцов в период максимальной мощи, а то, что остается от них на склоне лет. Знай мы, как выглядели покойные гении в самый свой рабочий час, может, бережней бы относились к гениям живым...

\* \* \*

Тургенев был умен, очень умен. Это отмечали почти все знавшие его. В одном из писем Белинский говорил о своем младшем (на семь лет) друге: “Тургенев — очень хороший человек, и я легко сближаюсь с ним. Это человек необыкновенно умный, беседа и споры с ним отводили мне душу”.

Тургенев прекрасно играл в шахматы — если судить по дошедшим партиям, лучше любого из русских классиков. И еще одно, косвенное и грустное, свидетельство ума: посмертное вскрытие обнаружило редкостную величину его мозга — он весил более двух килограммов.

Не парадоксально ли, что именно Тургеневу пришлось полжизни доказывать догматикам и примитивам, что жизнь умнее самого умного литератора, что дело честного художника — честно исследовать действительность, а не подгонять писательскую задачу к ответу.

“Господа критики вообще не совсем верно представляют себе то, что происходит в душе автора, то, в чем именно состоят его радости и горести, его стремления, удачи и неудачи. Они... вполне убеждены, что автор непременно только и делает, что „проводит свои идеи“; не хотят верить, что точно и сильно воспроизвести истину, реальность жизни есть высочайшее счастие для литератора, даже если эта истина не совпадает с его собственными симпатиями”, — так писал он в очерке “По поводу „Отцов и детей“”.

Этому принципу — точно и сильно воспроизводить истину — писатель следовал всю жизнь. И всю жизнь от него требовали другого: не глубокого анализа, а ясной, однозначной оценки. За Базарова или против? Любишь героя или ненавидишь? Как в уличной драке, где одно лишь и важно — на чьей ты стороне...

Когда врач уверенно назначает лечение непонятной ему болезни, он совершает профессиональное преступление. Тургенев на преступление не шел, за что и расплачивался достаточно жестоко. Хорошо, что был тогда в России Писарев, сумевший понять и сложный образ Базарова, и благородное величие тургеневского реализма...

\* \* \*

Молодой Тургенев пользовался в писательской среде почти единодушной любовью. Отношения зрелого Тургенева с великими коллегами были куда сложней и нерадостней. Долгие ссоры с Толстым, Гончаровым, Достоевским...

Как это понять? Почему один из самых достойных, великодушных и просто воспитанных людей эпохи годами влачил тягостную ношу ненужной вражды?

Недавно к юбилею Достоевского было напечатано немало работ, в которых с большей или меньшей подробностью пересказывалась история долгой ссоры двух корифеев, причем авторы большинства работ откровенно “болели” за Федора Михайловича, что, наверное, можно объяснить и даже извинить спецификой момента: юбилей был Достоевского, а по обычаю — про юбиляра или хорошо или ничего. Остается надеяться, что в юбилей Тургенева несправедливость будет исправлена, и авторы новых работ по той же теме не забудут отметить, как сдержанно и благородно, в отличие от некоторых оппонентов, вел себя в трудных ситуациях Тургенев, как ни разу не опустился до пасквилей и злобных карикатур, как всегда был готов первым протянуть руку примирения.

Однако меня сейчас интересует не история окололитературных недоразумений, а их причины. Поводы известны и не слишком значительны. Но — причины? Откуда явная неприязнь нескольких замечательных писателей к своему равновеликому современнику?

При этом следует заметить, что Тургенев и в человеческих отношениях, и в литературных оценках был, как правило, доброжелателен, талантливые вещи встречал радостно, чужие книги пропагандировал охотнее, чем свои, а если и судил о произведениях коллег строго, то обычно со смягчающими оговорками.

В чем же тут дело?

Может быть, причины чисто житейские, из тех мелочей, что порой весьма активно вмешиваются в течение жизни?

Скажем так: не превосходя некоторых своих коллег размерами дарования — да и кто его измерит!— Тургенев, возможно, превосходил их чувством юмора. А юмор, при всей своей кажущейся невинности,— вещь обоюдоострая и в отношениях с людьми самолюбивыми отнюдь не безопасная. Шутки, пародии, розыгрыши, которые, особенно в молодости, любил добродушный Иван Сергеевич, воспринимались жертвами шуток не всегда добродушно. Например, Авдотья Панаева вспоминала, как остро и неадекватно реагировал на подтрунивание молодого Тургенева молодой Достоевский. Порой и незлые люди бывают злопамятны: это черта характера, ее не выкинешь из натуры просто по желанию. Не становился ли иногда зрелый Тургенев жертвой невольной злопамятности жертв своих давних шуток?

Или дело в тургеневской щепетильности? Сам он даже в резкой публичной полемике не позволял себе объяснять ту или иную художественную неудачу бесчестностью намерений автора и вообще его низким моральным обликом и, естественно, не терпел подобное по отношению к себе.

Впрочем, это лишь догадки.

Думается, основная причина гораздо важней и объективней.

Сегодня, в эпоху всемирной славы наших классиков прошлого века, в эпоху миллионных тиражей и общепризнанности, нам нелегко представить в конкретных частностях литературный процесс той поры. А ведь тогда все было отнюдь не безоблачно.

Это сейчас всемирная слава — а тогда многие ли, например, знали Гончарова не только в Париже или Риме, но, допустим, в Ярославле или Тобольске? Это сейчас миллионные тиражи Толстого — обычное дело, а тогда и пятитысячный был вполне престижен. Это сейчас Достоевский общепризнан — а тогда даже Добролюбов, хваля за прогрессивную направленность, высокой художественности за Федором Михайловичем не признавал.

В тридцатых-сороковых годах XIX столетия Белинский вполне объективно определил бесспорные авторитеты эпохи, написав о конце пушкинского и начале гоголевского периода в литературе. В 1848 году критик умер. Еще при его жизни Гоголь надолго, до конца своих дней, замолчал. Следующий период остался не названным.

Однако литература в своем развитии не остановилась, и период этот был.

Мне кажется, есть немало оснований назвать его тургеневским.

Что это за основания?

Из мощной группы ярких талантов, вошедших в литературу в сороковые-пятидесятые годы, Тургенев первым завоевал не просто известность, а широкую, устойчивую славу. Начиная с “Записок охотника” он долгие годы был самым популярным, самым знаменитым писателем, “центральной фигурой” литературного процесса. Именно его новых вещей больше всего ждали читатели, именно ему издатели, заинтересованные в подписчиках, платили самые высокие гонорары — показатель “низкого ряда”, но характерный и достаточно объективный. Именно его проза вызвала к жизни ярчайшие произведения публицистической критики той эпохи: статьи Добролюбова о “Накануне”, Чернышевского об “Асе”, Писарева об “Отцах и детях”...

Автор посмертной биографии, которую я уже цитировал, написал, что Тургеневу “в продолжение сорока лет принадлежала руководящая роль в литературе”; написал без колебаний, хотя за два года до того закончил свой жизненный путь Достоевский, а Толстой уже выпустил в свет “Войну и мир” и “Анну Каренину”.

Разумеется, утверждение о руководящей роли могло быть субъективно. Но вот, например, еще одно свидетельство, — В. Г. Короленко, одного из самых умных и честных очевидцев эпохи (в год смерти Тургенева ему было около тридцати):

“Недавно один из критиков „Нового времени“ (г. Перцов) указал — и, пожалуй, верно,— что гораздо меньше „ругали“ Гончарова, чем Тургенева. Да, но это лишь потому, что в то время, которое помнит г. Перцов, о Гончарове вообще говорили мало. Тургенев раздражал как собеседник, порой больно задевавший самые живые струны тогдашних настроений. К нему относились страстно, бурно порицали и так же бурно выражали ему любовь и уважение. У него была ссора, но было и удовлетворение триумфа. Он понимал, и его тоже понимали”.

И написано это не в работе о Тургеневе, а в юбилейной статье о Гончарове!

В ряде вопросов литературного быта Тургенев служил как бы эталоном. Справедливо возмущаясь собственными низкими гонорарами, Достоевский сравнивал себя как раз с любимым издателями Тургеневым, что вряд ли вызывало прилив симпатий к более удачливому собрату. Как на смерть Пушкина ярко отозвался его поэтический наследник Лермонтов, за что и пострадал от властей, так на смерть Гоголя ярко отозвался Тургенев (тоже наследник?), за что и пострадал от властей.

Сформулировать можно так: начиная с “Записок охотника” по популярности у русского читателя Тургенев был первым, возможно, первым среди равных, равным среди равных — но вторым не был никогда.

Наверняка мне возразят, что периодизация литературы по признаку успеха — дело крайне рискованное. Сразу с этим соглашусь. Пока сформулирую скромнее: Тургенев был центральной фигурой тогдашней литературы с точки зрения тогдашнего образованного читателя.

Ну, а сам Тургенев — как он относился к своему первенству?

Вдумчивый, серьезный, влюбленный в свое дело писатель, он не был по натуре ни борцом, ни тем более вождем. В знаменитой статье-речи “Гамлет и Дон Кихот” он восхищался безоглядной решительностью Дон Кихота, наверное, как раз потому, что сам ее был лишен. По натуре он был, скорее, Гамлет: даже в пору высшей славы каждая новая законченная работа оставляла в нем чувство неуверенности, а то и просто неудачи. Ни к какому лидерству никогда не стремился, и в письмах и в статьях настойчиво называл первым писателем эпохи Толстого. Но, увы, даже эта акция лишь подчеркивала его первенство: отрекаться от трона может лишь законный монарх...

Короче, занимая в литературе тех лет место важное, но отнюдь не особенное, в литературном процессе Тургенев занимал место особенное. Проще: он был модный писатель.

Да, модный. Его книги ждали, о нем говорили даже в тех житейских случаях, когда просто нужно о чем-нибудь поговорить. Когда он писал, обсуждали, что пишет, когда не писал, обсуждали, почему не пишет.

На литературных вечерах молодая публика шумно восторгалась не только тем, что он читал, но и тем, что читал — он. Тогда не было динамиков, но каждое тургеневское слово мода усиливала, как динамик.

Во все эпохи литературная мода раздражала коллег.

Дело тут, разумеется, не в зависти, не в жажде славы, букетов и дамских вздохов: естественно, все мы люди, но когда речь идет о великих писателях, переоценивать малые человеческие слабости несерьезно. Тут всё глубже.

Почти каждая книга большого художника — не просто еще одно литературное произведение, но и новый взгляд на мир, поиск лучших путей для человечества. И когда читатель проходит мимо книги-открытия, отвлекаясь на менее значительное, автор огорчается не только за себя, но и за читателя: ведь если модный знахарь уводит больного у опытного врача, врач возмущается не потерей клиента, а тем, что человек может пострадать. Мода забавна, порой увлекательна, но не так безобидна, как кажется: она нарушает нормальное течение литературного процесса, зачастую дезориентирует читателя, тормозя эстетическое и нравственное развитие общества.

Так что вполне можно понять ту, иногда неосознанную, неприязнь, которую испытывают порой даже очень крупные художники к модному собрату...

В чем только не обвиняли Тургенева! В позерстве, в “популярничанье”, в заискивании перед читающей публикой, в неискренности, даже в желании “подвильнуть хвостом перед молодежью”! Больше всего раздражало, что мода на Тургенева, в отличие от прочих мод, все никак не проходила. Вроде бы поссорился с публикой из-за “Отцов и детей”, роман ругают — но все равно у всех на устах то же имя. Уехал за границу, оторвался от родной почвы, от литературной борьбы — а по приезде вместо равнодушия триумфальная встреча! Говорят, что мода не выдерживает времени — мода на Тургенева прошла сквозь всю его жизнь, продолжалась после смерти и практически продолжается сейчас — свидетельство тому хотя бы не уменьшающееся количество инсценировок и экранизаций.

Откуда же такая стойкость моды? Почему в эпоху, богатейшую талантами, так затянулся “тургеневский период” в литературном процессе? (Ведь подумать только: почти вся творческая жизнь Достоевского пала на этот период; даже триумф писателя, знаменитая “Пушкинская речь”, имел привкус горечи: великий романист был поставлен наконец на первое место среди современников... как юбилейный оратор!)

На мой взгляд, это был тот нечастый случай, когда мода не тормозила, а торопила социальное и нравственное развитие эпохи. Тургенева читали и Тургеневым жили потому, что он этого полностью заслуживал — в течение нескольких десятилетий он был духовным лидером времени.

При этом, разумеется, не надо забывать, что ни Толстой, ни Достоевский вовсе не оказались в читательском мнении отодвинутыми на второй план: их период начался несколько позднее, зато длится по сей день, причем не только в отечественной, но и во всей мировой литературе.

Гоголевский период в литературе кончился, конечно же, не потому, что умер Гоголь. Просто великие художники очень часто, открывая тему, одновременно и “закрывают” ее. После “Мертвых душ” и “Ревизора” какая сатира не показалась бы ослабленным повторением? Прошли десятилетия, прежде чем возникла общественная потребность в Салтыкове-Щедрине.

К тому же, хотя отрицание темного в жизни — сильнейший и незаменимый стимул прогресса, человек не может жить одним только отрицанием. Есть еще и природа, и любовь, и сложный мир человеческих отношений, и просветительство в разных его формах — вообще все, что формирует и развивает человеческую душу.

В середине прошлого века все эти стороны жизни и литературы смело можно было объединить одним словом: Тургенев.

В нем была пушкинская широта и “ренессансность” — не зря он всю жизнь преклонялся перед нашим величайшим поэтом. С пушкинской свободой переходил он из жанра в жанр: роман, повесть, очерк, воспоминание, критика, пьесы, идущие до сих пор по всему миру. Стихи? Да, и стихи: поем же мы и сегодня “Утро туманное, утро седое...”. Как и Пушкин, он был убежденный “западник” — хотя, наверное, лучше употребить тут современное слово “интернационалист”: для него не было плохих народов, его книги населены героями разных национальностей, один из любимейших — болгарин Инсаров. Как Пушкин, он знал, чувствовал всю Россию — от неграмотных крестьян до молодых интеллигентов.

Тургенев замечательно писал о любви: его проза о “страсти нежной” по воздействию на читателя не уступала (да, пожалуй, и сейчас не уступает) откровеннейшим любовным стихам. Практически в то время в душах молодежи Тургенев, пожалуй, занимал место первого лирического поэта эпохи.

Но главная причина “модности” заключалась в одной крайне редкой особенности тургеневской личности: по складу литературного дарования он был пророк. Это не возвышенная похвала — именно творческая особенность, ничего более.

Здесь, видимо, опять надо вернуться к огромному тургеневскому уму. До сих пор спорят: полезны ум и образование в художественном творчестве или вредны? На примере русских гениев можно ответить однозначно: полезны! Тургенев постоянно попадал в самую сердцевину, в “десятку” общественных проблем, конечно же, не потому, что “популярничал” или стремился “подвильнуть хвостом”, а только потому, что наблюдал жизнь страны гораздо внимательней, понимал гораздо глубже, чем подавляющее большинство его современников. Отсюда постоянный жадный интерес к его творчеству. Отсюда, к сожалению, близорукие, но злые нападки на писателя.

Момент “Записок охотника” был счастливый: писатель и передовое общество совпали в оценке острых проблем дня. Дальше стало сложнее: выражаясь стилем современных спортивных репортажей, писатель “пошел в отрыв”. Почти в каждой новой вещи открывал он новые типы. Если жизненность их обнаруживалась сразу, вещь объявлялась творческой победой, если через пятнадцать лет — клеветой. К счастью, четырех десятилетий творчества хватило, чтобы читающая Россия поняла и признала этот пророческий дар.

Впрочем, нельзя забывать, что в ту пору в России вовсе не один Тургенев был пророком: ведь рядом работали два гиганта, Толстой и Достоевский, видевшие многое в будущем с необычайной, пугающей ясностью, и крупнейшими писателями России двадцатый век признал именно их. Но Тургенев при жизни был популярней. Почему? Видимо, дело в том, что его пророчества в ту пору были, если можно так выразиться, более конструктивными.

Достоевский, например, точно предсказывал развитие страшных общественных типов и уродливых, преступных отношений — спустя сто с лишним лет после его смерти фашиствующие “бесы” угоняют пассажирские самолеты и взрывают бомбы на вокзалах. А Тургенев с той же точностью предсказывал развитие светлых общественных типов и высоких человеческих отношений.

Достоевский объяснял, как нельзя и не надо жить. Тургенев — как можно жить. А человек, читающий книгу, знал, что ему, уверенно произнеся вслед за писателем все “нет”, потом придется сказать “да”: надо жить, надо строить жизнь во всей ее сложной конкретности — для себя, для тех, кто рядом, для тех, кто придет. Вот и тянулся он к обнадеживающим прогнозам Тургенева, ибо с Тургеневым жить — можно.

Тургеневские “конструктивные пророчества” поразительны. Вспомним хотя бы знаменитых “тургеневских девушек”, которых сегодня без всякого на то основания преподносят в воспитательных беседах в качестве послушных, благонравных, стопроцентно примерных девиц. Ведь на деле это были подлинные революционерки в сфере человеческих отношений. С какой решительностью ставили они любовь выше условностей, рассудок выше предрассудка! Да и разве ограничивалась их роль областью любви? Рядом с тургеневскими девушками немыслимо было оставаться невеждой, бездельником, уродливым холопом любого начальства. Самим фактом своего существования они боролись за достоинство и свободу человека. Не от них ли ведут свою родословную нежные российские героини, — при монархии революционерки, а при диктатуре диссидентки? Впрочем, почему непременно героини? А обычные юные лица, сдержанные и смелые, задумчивые и открытые, то серьезно, то критически, то испытующе глядящие на мир, разнообразные девичьи лица, так украшающие институтские аудитории, театральные залы и просто улицы наших городов,— разве не Тургеневым замечены, угаданы они полтора века назад? В мире немало славных литератур, наша не единственная, но где еще найти женские образы, которые сочетали бы в себе такую душевную силу, высоту нравственных критериев и способность к самопожертвованию, как это характерно для героинь нашего классика? Вряд ли будет преувеличением сказать, что эти характеры, созданные историей народа и творческим прови2дением писателя, наше великое национальное достояние.

Но главное из “конструктивных пророчеств” великого писателя — пожалуй, все же не “тургеневские девушки”.

\* \* \*

Если бы Иван Сергеевич написал в жизни только одну эту книгу, он все равно занял бы место в первом ряду нашей классики. До сих пор “Отцы и дети” — как бы эталон “проблемного романа”. Вроде бы все привычно: интрига, сюжет, частная жизнь частных людей, — но какой узел конфликтов, какой острый и контрастный портрет эпохи!

Роман читается до сих пор, и это умеренная похвала. Полтора века для хорошей литературы не так уж много, и самые разные произведения современников Тургенева, от лирических стихотворений до многоактных пьес, без видимых усилий перешагнули этот рубеж. Но спустя век вызывать яростные, непрекращающиеся споры способна только уникальная книга.

На рубеже пятидесятых-шестидесятых годов прошлого века по стране одна за другой прокатились две небывалые по массовости и накалу дискуссии. Впрочем, “прокатились” — неточность: то затухая, то усиливаясь, катятся до сих пор. Первая: о “физиках и лириках”, о цивилизации и культуре, о вещах и духовности, о том, нужны ли нашему современнику Бах и Блок, или это только привычная дань “хорошему тону”. Вторая: о проблеме “отцов и детей”, о взаимопреемственности или взаимоотрицании поколений.

Обе эти дискуссии (а в них, в той или иной мере, участвовали едва ли не миллионы людей, от старшеклассников до государственных деятелей) восходят к одной не слишком объемной книге, которую сам автор скромно называл повестью и лишь потом определил как роман.

Интересно, что мы спорим не только о проблемах романа, но и о его персонажах, — прежде всего, конечно, о Базарове, центральном герое, вот уже пятнадцать десятилетий (а сколько их будет еще?). Кто он? Что за личность? Циничный прагматик, равнодушный ко всему прекрасному, или умный работник, справедливо презирающий прекраснодушную болтовню? Находчивые преподаватели литературы порой устраивают, в духе двадцатых годов, “суды” над Базаровым, и эти литературно-юридические мероприятия имеют среди старшеклассников стойкий успех. Многие ли герои старой классики удостоиваются нынче диспута?

Говорят, время все ставит на свои места. С “Отцами и детьми” такого пока не произошло — видно, для этой книги полтораста лет не время. Тип Базарова продолжает развиваться, роман уходит в далекое будущее.

Удивительной силы “конструктивное пророчество”!

Тогдашние блюстители прогресса углядели в Базарове карикатуру на передовую молодежь. Утверждать, что “писатель отстал от жизни”, и ныне популярная формулировка. На деле все обстояло по-иному, как оно и бывает нередко: жизнь отстала от писателя, уже увидевшего и осмыслившего ее будущий этап.

Нелегко быть пророком в своем отечестве. Тургенев занимал эту хлопотную должность в течение трех десятилетий.

\* \* \*

Что нужнее творческому человеку: уверенность в себе или самокритичность?

Наверное, нужно и то и другое. Уверенность помогает писать, самокритичность — хорошо писать. Везет человеку, у которого оба качества в гармонии!

У Тургенева с большим перевесом преобладала самокритичность.

Когда юный автор, посылая старшему собрату свои опыты, через фразу извиняется, это легко понять. Но и зрелый, прославленный художник не может уйти от той же неуверенной интонации!

Уже будучи автором “Записок охотника”, он писал знакомому: “Я всегда охотнее верю тому, кто меня бранит”.

Регулярнее всех бранил работы Тургенева сам Тургенев.

Вот после выхода “Записок охотника” он оценивает книгу, принесшую ему славу:

“Мои „Записки“ мне кажутся теперь произведением весьма незрелым...”

Вот через годы сообщает Достоевскому (они тогда были в хороших отношениях):

“Когда вы получите это письмо, вероятно, моя повесть будет уже в Петербурге. Прочтите и скажите свое мнение со всей искренностью. Я ожидаю неуспеха, чтобы не сказать более — и это не есть „забегание вперед“, а довольно ясное сознание, основанное на положительных данных. Я знаю, чего я хотел, и начинаю чувствовать, что взял задачу не по силам”.

Что же это за неудачная повесть? Ни много, ни мало — “Отцы и дети”.

До сих пор по всему миру идет с успехом тургеневский “Нахлебник”. А как относился к своему детищу сам автор пьесы-долгожительницы? Вот как:

“...что же касается до представления моего „Нахлебника“, то это одно из тех несчастий, которые могут случиться со всяким порядочным человеком. Воображаю, что это будет за мерзость! И пьеса, и исполнители ее одинаково достойны друг друга”.

А вот в письме Писареву, так сказать, обобщенная оценка творческих возможностей литератора Тургенева (к этому времени уже признанного в Европе великого мастера):

“Я, с одной стороны, очень хорошо знаю, что всякий талант, как всякое дерево, знает только те плоды, которые ему приличествуют, однако, с другой стороны, я не делаю себе никаких иллюзий насчет моего таланта — моего дерева — и вижу в нем весьма обыкновенную, едва привитую российскую яблоню”.

“Стихотворения в прозе”, ныне переведенные на сотню языков, автор считал лишь эскизами, материалами для будущей работы, и не хотел отдавать в печать.

Что это: неуместная скромность? Литературное кокетство?

К сожалению, нет. Это нормальная мука честного писателя, никогда не способного достичь собственного идеала.

Ни тиражи, ни гонорары, ни переводы, ни слава, ни почетная мантия Оксфордского университета ничего в Тургеневе не меняли. Видимо, зазнаваться классик попросту не умел. Позволю себе привести еще одну его автохарактеристику:

“Я один из писателей междуцарствия — эпохи между Гоголем и будущим главою; мы все разрабатывали в ширину и разбивку то, что великий талант сжал бы в одно крепкое целое, добытое им из глубины; что же делать! Так нас и судите”.

Напомню, что к писателям “междуцарствия”, этим старательным, но недостаточно талантливым середнякам, скромным “разработчикам в ширину и разбивку”, относились, кроме самого Ивана Сергеевича, еще и Гончаров, Некрасов, Герцен, Островский, Достоевский, Толстой.

Нам бы сегодня тургеневские критерии!

Для русской словесности Тургенев сделал то же самое, что Петр Первый для русского государства: прорубил окно в Европу. Его первого начали широко переводить. Французские классики почтительно называли его учителем, немецкие критики в посмертных статьях сравнивали с Гёте.

Но Тургенев не был бы Тургеневым, если бы удовлетворялся только собственной популярностью в мире. Трудно назвать человека, который больше сделал для пропаганды русской литературы за границей.

Важно отметить, что Тургенев стремился познакомить зарубежного читателя с книгами не только своих друзей, но и недругов — если книги того заслуживали. Даже в годы разрыва личных отношений он активно способствовал изданию в Европе Толстого и Достоевского.

Нам бы сегодня тургеневскую порядочность!

Владимир Галактионович Короленко писал в 1909 году в статье “Стереотипное в жизни русского писателя”:

“Когда умирает русский писатель, какого бы калибра он ни был, то ему, как всякому подсудимому на суде, прежде всего, вероятно, предлагают на том свете вопрос: „Был ли в каторжных работах? На поселении в Сибири? Под судом? В тюрьме? Ссылался ли административно?“ Или, по меньшей мере: „Не состоял ли под надзором полиции, явным или тайным?“

И редкий из нашей братии может, положа руку на сердце, ответить: „На каторге не бывал, под судом и следствием не находился, под явным и тайным надзором не состоял“.

Такая уже преступная профессия”.

Тургенев был писатель глубоко русский, и положенной чашей его не обнесли: и под арестом находился, и в ссылке побывал.

Справедливости ради отметим, что арестован и сослан классик был, в общем-то, не беспричинно: в статье памяти Гоголя он умышленно и противозаконно назвал великого русского писателя великим русским писателем. К этим жизненным осложнениям Тургенев отнесся вполне профессионально, то есть не переживал, а работал: под арестом он написал знаменитый рассказ “Муму”, а в деревенской ссылке — повести “Два приятеля” и “Затишье”...

\* \* \*

Литературное новаторство требует, как правило, не только громадного таланта, но и могучего характера: ниспровергать общепринятое трудно — и творчески, и житейски. Века литературного процесса словно бы создали тип новатора: убежденность в своем призвании, готовность и даже стремление к борьбе, к публичной полемике, к скандалу, устойчивость к критике и дуэлянтское умение отвечать ударом на удар.

Байрон, Гюго, Маяковский рождены были новаторами: словно с кувалдами бросались они на замшелые стены литературных догм — только каменные брызги в стороны! Но — воспитанный, деликатный, постоянно сомневающийся в себе Тургенев?

Да, Тургенев. В истории найдется не много новаторов такого масштаба. Он не бил кувалдой, он стучал в стену вежливо, как случайный гость в чужую квартиру,— а стена рушилась! Не опровергал, не декларировал, просто писал книги: открытия совершались словно бы сами собой.

Характера новатора у Тургенева не было. Видимо, талант новатора с лихвой перекрывал эту недостачу.

“Записки охотника” — естественные, будто написанные на одном дыхании,— не просто книга и не просто открытие темы: это открытие жанра, который с пользой и славой прошел сквозь девятнадцатое столетие и оказался таким необходимым в нашу эпоху, в работах Овечкина, Дороша, Абрамова и других наших “деревенщиков” вплоть до Шукшина.

А романы Тургенева, короткие и упругие, вроде бы традиционные, “семейные”, но при этом загадочным образом вбирающие еще и эпоху со всей ее мудростью, горечью и иллюзиями? Кажется, при жизни автора их уже называли “проблемными”. Практически тоже жанр, так бурно развившийся в XX веке и давший столько достижений, вспомним хотя бы замечательную прозу Юрия Трифонова и Владимира Тендрякова.

К “Стихотворениям в прозе” автор не относился серьезно. Но вот они вышли — и рухнул еще кусок стены, и век спустя в пролом хлынул целый поток “лирической прозы”.

Даже “Странные повести” позднего Тургенева — “Сон”, “Песнь торжествующей любви”, “Клара Милич” — предвосхитили и как бы вобрали в себя все достижения будущего русского декаданса.

Сколько литераторов во все времена стремились выглядеть новаторами! А, оказывается, выглядеть новатором вовсе не обязательно — достаточно им быть...

\* \* \*

Прозу зрелого Тургенева его современники читали взахлеб. Критики же главным образом ругали. Кому верить?

Самокритичный классик и за перевалом, как в пору подъема, больше верил тем, кто бранит. (Тогда еще не известно было, что быть обруганным куда престижней, чем расхваленным, и что самый прямой и надежный путь к славе лежит через скандал.) Сомнения в себе накапливались. В письмах Тургенева шестидесятых-семидесятых годов звучит навязчивым мотивом: с творческой работой пора кончать. В очерке “По поводу „Отцов и детей“” — невеселая шутка: “...литературные ветераны подобны военным — почти всегда инвалиды — и благо тем, которые вовремя умеют сами подать в отставку!”. И рядом, в той же фразе, спокойный и горький вывод: “Наступили новые времена, нужны новые люди”.

Но как жить писателю, переставшему писать?

На наше счастье, орлу не так легко отказаться от крыльев.

Тургенев пишет — не надеясь на успех, заранее предсказывая неудачу каждой новой вещи,— но пишет. Журналы его ругают, он тут же соглашается с их оценкой. И вновь пишет.

Среди “неудач” этого периода такие шедевры, как “Вешние воды” и “Песнь торжествующей любви”.

В июне 1872 года Тургенев посылает из Москвы письмо Флоберу, старому другу и почти ровеснику:

“Мой друг, старость — это тяжелое тусклое облако, заволакивающее и будущее, и настоящее, и даже прошедшее, так как делает его печальным, стушевывая и надламывая воспоминания. Надо защищаться против этого облака...

Автор не должен падать духом. Пусть он мужественно идет до конца!..

Прощайте и до свидания, мой дорогой друг,— будем же держать голову высоко, пока ее не покроют волны”.

Ивану Сергеевичу предстоит бороться с волнами еще одиннадцать лет.

\* \* \*

Наверное, Тургенев, великий труженик, заработал у судьбы право если не на спокойную старость, то хотя бы на легкую смерть. Вышло, к сожалению, по-иному: последняя болезнь была мучительной и долгой, после выяснилось, что это рак позвоночника. У самого Ивана Сергеевича насчет количества оставшейся жизни иллюзий не было.

Что делать писателю в ожидании смерти?

А что еще ему остается делать?!

В свое время, возмущенный предположениями, что некоторые его повести писаны по-французски и по-немецки, Тургенев резко возражал:

“Я никогда, ни одной строки в жизни не напечатал не на русском языке; в противном случае я был бы не художник, а — просто — дрянь. Как это можно писать на чужом языке, когда и на своем-то, на родном, едва можно сладить с образами, мыслями и т. д.!”.

Увы: в жизни лучше не зарекаться.

Летом 1883 года во Франции, в Буживале, умирающий Тургенев диктует по-французски свое новое произведение: рассказ “Пожар на море”. Почему по-французски? Так приходится, ведь записывает Полина Виардо.

Несмотря на перевод, несмотря на страдания болезни, несмотря на осознаваемую близость смерти, рассказ этот на сто процентов тургеневский: его правдивость, его наблюдательность и, что в данной ситуации даже странно, его обычный печально-снисходительный юмор.

“Совершенно справедливо, что ничто не равняется трагизму кораблекрушения или пожара в море, кроме их комизма. Например, богатый помещик, охваченный ужасом, ползал по полу, неистово кладя земные поклоны; когда же вода, которую изобильно лили в отверстия угольных трюмов, на минуту укротила ярость пламени, он встал во весь рост и закричал громовым голосом: „Маловерные! неужели вы думали, что наш Бог, русский Бог, нас покинет“. Но в ту же минуту пламя метнуло сильнее, и многоверующий бедняк опять упал на четвереньки и снова принялся бить земные поклоны. Какой-то генерал с угрюмо-растерянным взором не переставал кричать: „Нужно послать курьера к государю! К нему послали курьера, когда был бунт военных поселений, где я был, да, лично, и это спасло хоть некоторых из нас!“. Другой барин, с дождевым зонтиком в руках, вдруг с ожесточением начал прокалывать находившийся тут же в багаже дрянной портретишко, писанный масляными красками и привязанный к своему мольберту. Концом зонтика он проткнул пять дырок: на месте глаз, носа, ушей. Разрушение это он сопровождал восклицанием: „К чему все это теперь?“. И эта картина ему не принадлежала!”

Автор не щадит и себя (рассказ написан по личным юношеским воспоминаниям):

“Я помню, что схватил за руку матроса и обещал ему десять тысяч рублей от имени матушки, если ему удастся спасти меня. Матрос, который, естественно, не мог принять моих слов за серьезное, высвободился от меня; да я и сам не настаивал, понимая, что в том, что я говорю, нет здравого смысла”.

И в финале рассказа, после спасения на берегу:

“Матрос, которому я за свое спасение наобещал непомерную сумму от имени матушки, явился требовать от меня исполнения моего обещания. Но так как я был не вполне уверен, он ли это действительно, да и сверх того, так как он ровно ничего не сделал, чтобы спасти меня, то я предложил ему талер, который он и принял с благодарностью”.

Этот рассказ в тургеневских собраниях сочинений и печатают-то на самом скромном месте, в приложениях. Хотя, наверное, он заслуживает лучшей участи: ведь это тоже своеобразный “репортаж с петлей на шее”...

Дни, оставшиеся до последнего беспамятства, были мучительны. Успел просмотреть русский перевод рассказа “На море” (смерть — смертью, а работа — работой), успел послать коротенькое письмо Толстому, в котором уговаривал упрямого гения вернуться к литературной деятельности (“Друг мой, великий писатель русской земли — внемлите моей просьбе!”), успел, наконец, сделать необходимые распоряжения по поводу похорон.

Впрочем, “распоряжаться” было не в его характере.

“Незадолго до своей смерти Тургенев говорил, что он желал бы быть похороненным в Святогорском монастыре, у ног Пушкина, которого он всегда называл учителем своим, но не считает себя достойным такой чести, а потому и завещал похоронить его тело в Петербурге, на Волковом кладбище, рядом со своим другом Белинским. На буквальном исполнении своей воли он, впрочем, не настаивал, ввиду того, что рядом с могилой Белинского давно нет места для другой могилы, а потому и было решено похоронить Тургенева на одном кладбище с Белинским, возле соборной церкви, с левой (северной) ее стороны, близ входа в собор...” (Биографический очерк из первого посмертного издания собрания сочинений. 1883 год).

Последние дни перед смертью Тургенев лишь изредка приходил в сознание. Третьего сентября 1883 года, в два часа пополудни, дыхание прекратилось.

Тело писателя из Буживаля перевезли в Париж, оттуда — в Петербург, где и состоялись похороны (Городская дума приняла их на свой счет).

Еще раз предоставлю слово биографу-современнику:

“В погребальной процессии, медленно двигавшейся от Варшавского вокзала на кладбище — среди несметной толпы, стоявшей вдоль улицы, участвовало 179 депутаций с венками — от различных ученых учреждений и обществ, от учебных заведений высших и средних, от органов столичной и провинциальной русской печати, от многих русских городов, т. д. Множество венков прибыло вместе с гробом из Парижа и Берлина, из Ковно, Вильны, Динабурга, Острова, Пскова, Луги и Гатчины — попутных городов, жители которых выходили встречать прах Тургенева и днем, и в ночное время. Глаз едва охватывал весь этот ряд венков, двигавшихся, возвышаясь над толпою, на протяжении более чем двух верст. На улицах, в окнах домов (окна по случаю неожиданно наступившей в этот день ясной и теплой погоды были почти везде открыты), на балконах, по заборам и складам дров, и на крышах — всюду было видно множество людей.

По окончании заупокойной литургии и панихиды в церкви, гроб, опущенный в могилу, был засыпан землей и цветами. Речи на могиле были произнесены ректором Петербургского университета А. Н. Бекетовым, профессором Московского университета С. Н. Муромцевым и Д. В. Григоровичем; А. Н. Плещеев прочел свое стихотворение”.

Так проводили современники своего гения — великой читательской любовью и скромным поклоном литературной общественности.

Ну, а что сегодня сказать потомку?

Может, просто повторить слова, написанные одним товарищем его молодости о другом товарище его молодости:

Учитель! Перед именем твоим

Позволь смиренно преклонить колени.

Или отнести к судьбе Ивана Сергеевича и к памяти о нем его же любимое изречение: “Все минется, одна любовь останется”.

Его любовь с нами.

Наша любовь с ним.

Опубликовано в журнале:
[«Нева» 2008, №10](http://magazines.russ.ru/neva/2008/10/)